

Монопьеса

В середине сцены на лавке сидит очень юная босоногая девушка. Её волосы коротко остижены. Пространство вокруг походит то ли на бедную комнату деревенского дома, то ли на сарай. Время от времени снаружи доносится стук топора и молотка, будто кто-то что-то строит.

Не пылит дорога, не дрожат листья, погоди немного, отдохнёшь и ты... Что, нравится? Мне говорили, что я превосходно читаю Гёте. *(Улыбается, закрывает глаза и снова серьёзна.)* Я запомнила запах смерти. Однажды она подошла вплотную и дышала мне в лицо. Терпеть не могу, когда на меня дышат живые люди, а тут не абы кто — смерть! Воздух такой тёплый и резиновый, им кто-то уже дышал. От этого воздуха разболелась голова, но я думала, что всё пройдёт само, надо только отвлечься. Вернулась из школы, взялась за уборку. У нас очень маленькая комнатка, моя кровать, мамин диван, шкаф да стол. Для этажерки с книгами кое-как нашли уголок. Не развернёшься. Мы втроём с мамой и братом, только мама всегда на работе. А брат сразу из школы поехал в свой кружок юных художников при музее. Шура чудесно рисует! У него большое будущее, так все говорят. Его картины в нашем классе повесили. Точнее, это не картины, а иллюстрации к «Мёртвым душам», но какая разница? Из других классов приходят любоваться, — так талантливо нарисовано. Шура и меня много рисовал. Я ведь терпеливая, умею молчать. Знал бы он, как хорошо я умею молчать. *(В сторону.)* Ну, уж ты-то это понял! Как хорошо, что ты не понимаешь по-русски...

Слышится звук топоров, как будто что-то сколачивают.

Нет, не надо об этом, надо думать о другом, совсем другом. Шуры не было дома, и я сама принесла воды от колонки, затащила ведро на второй этаж. Наклонилась с тряпкой. Вдруг всё закружилось, двоиться стало, потом потемнело. И вдруг грохот, вроде бы упало что-то тяжёлое на пол, и я лежу, понимаю, что этим тяжёлым было моё собственное тело, это оно упало. И всё исчезает.

Открываю глаза, где я, что со мной — не понимаю. Матрас под спиной бугристый, не такой, как дома. И потолок — белёный, не деревянный с привычными пятнами. От сучков на досках такие круглые коричневые срезы остаются, я на них всё детство любовалась. Так они мне нравились! Казалось, что это шоколад, я его однажды пробовала выковырять из потолка. Поставила на стол табуретку и залезла. До кружка не дотянулась, а палец занозила и едва не кувыркнулась с той табуретки. Так глубоко занозила, что даже иголкой не выковыряла. Щепка большая была, чуть не с полпальца, дёргаю её, пыхчу, слёзы наворачиваются, да только ещё глубже загоняю. Потом папа пришёл, пинцетом занозу выдернул и спиртом прижёг. И такое было облегчение, что палец не воспалится, гангрены не будет, и руку не отрежут! Глупо, да. Я с детства гангрены боялась. У бабушки в селе жил калека, на Гражданской войне ноги потерял.

Белые его ранили, и он в снегу пролежал несколько дней, пока свои не подобрали. Он был добрый, этот калека, только очень уж пил. Дедушка держал винную лавку, и к нам соседи часто захаживали. И этот калека на деревяшке с колёсиками то и дело к крыльцу подъедет. Всё детство я на него пялилась, очень боялась, что когда-нибудь тоже без ног останусь... (*Гладит себя по ногам.*) Ноги, мои ноги, бедные мои ноги, несчастные... Дедушка жалел его, наливал стаканчик за просто так. Тот захмелеет, да и уснёт прямо под забором. Не ругался, не кричал, а тихо засыпал под забором. Я всё думала: почему он пьёт? А бабушка сказала, что врачи его избавили от двух гангренов разом: от болезни в ногах и от жены. Не захотела она с инвалидом жить, сбежала в город. И вот доживает он свой век, а смысла не видит. Разве что бог его быстрее из-за вина приберёт, он к убогим добрый. Бабушка моя богу верит и в церковь ходит. У нас церковь в селе деревянная, высокая. Колокол далеко слышно.

Мне тогда в больнице показалось, что я этот колокол слышу. Наверное, в ушах гудело от лекарств, но мне, правда, показалось, что колокол. В комнате темно, а потолок белый-белый, чуть ни сияет. И будто манит к себе, как тот рай, который бабушка описывала. Кажется, поднимаешься к этому потолку, прижмёшься к нему телом, впитаешься вся в него, а душа насквозь полетит. Высоко-высоко, на небо! И от этого понимания дух захватывает и плакать хочется. Страшно ведь лететь, а что там наверху? Вдруг и правда, никакого бога нет, ведь пишут в газетах, что его нет, и учителя в школе так говорят, а я сейчас умру, и никто не вспомнит о том, что жила такая девочка на земле!

Только я не заплакала, я от потолка отвернулась. Ну, как отвернулась. Глаза скосила, чтобы не видеть белизны и не рвануться к ней. Смотрю, окно сбоку, а не в головах, как дома было. Фонарь уличный видно, белый снег под ним вьётся. А на столе рядом с кроватью никелированный ящичек блестит. Ну, такой, для шприцев. Я смотрю на этот ящичек, и вдруг понимаю, что это всего лишь больница, и такое облегчение, что я не умерла, и, наверное, теперь совсем никогда не умру, буду жить долго-долго, лет до ста! Спокойно стало, не страшно. Я глаза закрыла, и снова провалилась в пустоту.

А потом игра в догонялки началась: то вынырну в реальность, то опять в какой-то кисель упаду. А кисель горячий, липкий, так запросто из себя не выпустит! Ворочаюсь в нём, кувыркаюсь, как акробаты в цирке, а выдернуть себя из киселя не могу. Лица какие-то мелькают. Даже не лица, а глаза между марлевыми повязками и белыми шапочками. Они меня переворачивают, обтирают водой, что-то горькое вливают в рот, втыкают иглы в позвоночник, и я стараюсь не кричать, но какая же это боль! Она прямо по скелету в руки бежит, в ноги. Как электричество по проводам или вода по трубам. Как будто только ради боли и сделано моё тело. И так всё долго, целую вечность! А потом резко — темнота и сквозь неё яркие звёзды, и я лечу между ними, то набирая скорость, то замедляясь.

Но однажды я окончательно пришла в себя. Вот так раз — и поняла, что сознание мне подчиняется, и я могу не просто скосить глаза, а ещё и повернуть голову в сторону окна. И понимаю, что палата общая, а не бокс, значит, теперь-то уж точно иду на поправку. И больно мне больше не будет. Дурочка... Кабы знала, какая она бывает — боль. Ноги мои, ноги, бедные мои... *(Встряхивает головой.)* Нет, всё правильно. Знала, на что иду. Присягу принимала, как настоящий красноармеец. *(С вызовом.)* Да, красноармеец! Если бы ещё раз спросили: пойдёшь на задание? Я бы не думала, я бы пошла. Жалко, что задания не выполнила, *(в сторону)* живые вы остались, вот что жалко. Да, и маму жалко.

Когда её пустили ко мне в больницу... Такое у неё было несчастное лицо, как будто она вовсе не спала с тех пор, как я заболела. А я ведь почти месяц между тем и этим светом пробегала. Никак не могла определиться, на каком остаться. Это врачи так говорили, а я-то помнила сияющий потолок, и как в сторону отвернулась. Только мама об этом не знала, боялась за мою жизнь. Менингит с осложнениями, не шутка! Она ведь, когда пришла меня навестить, медсестра просит её подождать, мол, сейчас доктор выйдет, а мама вспоминает, что вот так же было, когда отец умер. Наш отец, наш папа. Её тоже просили подождать доктора, а она до последнего не понимала, что всё, она теперь вдова. А про меня услышала, что доктор выйдет, и чуть сознание не потеряла. И мне так стало стыдно, что заставила её волноваться. Как будто это не болезнь, а именно я виновата в том, что чуть было не ушла следом за папой. Мама села рядом с кроватью, взяла мою руку, прижала к своей щеке. У неё слеза из глаза прямо по моей ладони катится и до локтя скользит. Одна, другая... Щекотно. Кап! Кап! И руку убрать не могу, потому что маму жалко, да и шевелюсь с трудом, голова вросла в подушку, не поднять. Напрягаю все силы, шепчу: не надо плакать, мне лучше. А звук такой слабенький, как будто сквозь вату идёт. Мама от этого звука ещё сильнее плачет. Сдержанная строгая мама, слова ласкового не дождёшься, — и вдруг у неё губы кривятся, не слушаются. Ты, говорит, молодец, что выжила. Так и сказала: молодец! Я сама чуть не разрыдалась, хоть и без сил была. Мама, милая моя, хорошая!

Успокоилась немного, говорит, очень они с Шуриком переживали, измучились оба. Дома холодно, но удалось достать дрова, сосед опять ругается с женой, Шурка почти перестал вечерами играть в футбол с мальчишками. Вместо этого готовит обед и делает уборку. Это он так меня пытается заменить. Совестно ему, поди, что не помог мне в тот день, а на кружок поехал... У него всегда причины находятся, чтобы не заниматься бабьими делами. Это он так говорит: бабье дело. А какое же это бабье дело, если ты и сам в этой комнате пол топчешь? Трудно что ли пыль протереть или посуду сполоснуть? Он, наверное, думал, что я вечно за ним ухаживать буду. Потом приходил ко мне в больницу, ластился, как будто извинялся. Всегда он так: сначала наделает ошибок, а потом прощения просит. Нет бы сразу набело жить, без ошибок. Мало у кого

получается, да, но ведь можно к этому стремиться! Жить без ошибок. Глупый Шурка! Глупый, глупый!

Слышится звук топоров, как будто что-то сколачивают. Девушка прислушивается, закрывает уши руками.

Ах, Шурка, дорогой мой брат. Маленький мой человек. Знал бы ты, что со мной, ведь побежал бы на выручку, как в детстве. Малышами в селе играли в прятки, я то в стог зарююсь, то за куст спрячусь. Ловко так, никто найти не мог, а мне всё видно. Дождусь, пока голящий отойдёт подальше и бегу со всех ног к стенке застучаться. Выигрывала всегда. А сейчас саму застучали. И не убежать. *(В сторону, с издёвкой в голосе.)* Что, сидишь, охраняешь? погоди немного, отдохнёшь и ты...

Шурка, дорогой Шурка. Пока я болела, он набрал чертёжной работы, сидел с ней до поздней ночи, а иногда и по утрам чертил, до ухода в школу. Встанет ни свет ни заря, лампу зажжёт, на шумит, маме выспаться не даст. Он хоть и пытается осторожно, а одно слово — медведь! Неповоротливый. Что не свернёт, то разломает. Но чертежи у него хорошие получаются, верные. Сразу видно, что художник, глаз — алмаз. Наш дядя служит в Институте картографии, он и придумал, чтобы мы с братом чертежи копировали и хоть немного заработать могли. Шурка сначала на дыбы встал, не стерпел, чтобы им командовали. А когда уж я взялась за готовальню, решил, что этот удар по самолюбию сильнее будет. Он ведь единственный мужчина в семье, а окажется единственным трутнем. Смешно! До ужаса он самолюбивый, ни за что не позволит нам с мамой его задарма кормить. Мамочка у нас учитель. Она хороший учитель, строгий, требовательный. Мы в подготовительном классе у неё были целый год. Как вспомню!.. Шурка не слушался, шалил на уроках, она на нас сердилась, могла сутками с нами не разговаривать. Воспитывала так. Один папа её мог успокоить и с нами помирить. Только после папиной смерти оказалось, что и мирить нас некому, и на одну учительскую зарплату с детьми не прожить. Тогда она устроилась на завод, там побольше платили. Учитель — и на завод! Мел поменяла на мазут, платье на рабочий фартук. Уставала сильно. *(Машет рукой.)* А! После смерти отца вообще всё кувырком пошло. Он был бухгалтером в Тимирязевской академии. Квартиру ему как сотруднику давали, и только похороны прошли, а нас уже пытаются выселить. До прокурора дело дошло, и он запретил нас трогать. Я слышала, как мама соседке про это говорила. А квартира эта... Конечно, и похуже люди живут, но ведь трое в одной малюсенькой комнате... Да и постройка такая, что дунь-плюнь и развалится, зимой всё тепло в щели выдувает, не протопишь. Вот у дяди Серёжи хорошая комната, просторная и тёплая, в Замоскворечье. Даже ванная в квартире есть, можно в баню не ходить. Член Союза писателей в соседях, критик Манников. Я, правда, ничего у него не читала, но, говорят, известный. Надменный такой, толстый, на крупного жука похож. Однажды поймал меня в коридоре, мы в гостях у дяди Серёжи были, в углу зажал, и начал

выспрашивать, над чем мы смеёмся, да что дядя Серёжа про свой институт рассказывает. И в лицо дышит тяжело так. А я не могу, когда мне дышат в лицо, тошнить начинает, я перепугалась, как закричу: «Мама!», она прибежала, схватила меня за руку и в комнату утащила. Отругала потом, а за что, я так и не поняла, неделю со мной не разговаривала. С тех пор дядя Серёжа сам к нам ездит, в гости не зовёт. А жалко, у него хорошая комната. И до Кремля рукой подать. Хоть каждый вечер гуляй по Александровскому саду. Там, наверное, и Сталина можно встретить. Говорят, что он так и не уехал из Москвы, когда Правительство эвакуировали. Он не бросил нас: ни меня, ни маму, ни Шурку не предал. И я его не предала. *(Громко.)* Ваш офицер вчера спросил, где Сталин. И тогда я, наконец, ответила. Я сказала, что Сталин на своём посту. Если бы я отвечала на другие вопросы, может быть, вы бы меня пощадили. Сохранили мне жизнь. *(Смеётся.)* Разрешили бы мне дышать! Выдали бы удостоверение, что я имею право жить! Подпись, печать. Действительно, пока не помрёшь! Я бы, может, и не выдержала, заговорила, только как потом на себя в зеркало смотреть? Не смогу. Оказалось, что отвращение сильнее боли. Оно даёт силы терпеть самую страшную боль. Ведь как мучили, но даже имени моего не узнали. Нет, вы не люди, теперь я точно знаю, что вы не люди. Я когда на первом задании немца вдали увидела, чуть старше тебя, думала, не выдержу, брошусь на него, душить буду, грызть буду, лишь бы не смел он ходить по нашей земле. Потом опомнилась: ведь человек, как можно? А вы не люди. Вы насекомые, которые решили захватить мир. Вас травить надо, бить, жечь! Выкуривать из тёплых щелей на мороз! Что, не нравится? Что ты смотришь, ну пристрели меня, ну? Нельзя? Приказа такого нет? *(Смеётся.)* Тогда терпи, вошь!

У нас в части был парень Курт — сын немецкого интернационалиста. Они бежали из Германии, когда там у вас всё началось, им грозила гибель. Концлагерь или смерть. Ну, что рассказывать, ты лучше меня знаешь, хоть и не понимаешь ни черта... Курт вырос в нашей стране, говорил по-русски, но ведь всё равно он оставался немцем. Я долго ему не доверяла: как может немец воевать против своих же, да ещё и в партизанском отряде? Наверняка предаст! Однажды не вытерпела, спросила. Он не обиделся. Объяснил, что воюет не против немцев, а против гитлеровцев. Таких, как ты. Сказал, что любит Германию и хочет вернуться туда после её освобождения от нацистов. Курт погиб на задании, прикрывая отход товарищей. Он был настоящим немцем и погиб в бою. Он — настоящий немец, а ты... Что ты забыл на русской земле? Ты даже языка нашего не знаешь, зачем ты сюда пришёл? Девушка из нашей части попала в расположение немецкого штаба. Её изнасиловали и заразили дурной болезнью. Она стала вся поблекшая, отрешённая. Но ненавидела она вас крепко. До самой смерти. На задании ставила мину на шоссе, обеими руками разгребала землю, а капсулю зажала в зубах. То ли ворона каркнула, то ли шумнул кто-то, только она от

неожиданности зубы сжала. Капсюль взорвался. Красивая такая была девушка, голубоглазая брюнетка. Приметная очень. Мне тоже командир однажды сказал, что я очень красивая, он потому не хотел брать меня в часть. Не хотел рисковать моей жизнью, чтобы не пропала зазря. Нам ведь говорили, что мы все погибнем. Когда нас брали в часть, мы все клялись умереть с честью. Но мы же не знали, что это так страшно и так больно — умирать. Что мы могли знать о смерти? О ваших пытках? Как потомки Шиллера и Гёте умеют вырывать ногти и пилить живого человека пилой? Великая нация!

Стук топоров, девушка прислушивается.

Не пылит дорога, не дрожат листья, погоди немного, отдохнёшь и ты... Нравится? Мне говорили, что я превосходно читаю Гёте. А свои стихи я не показывала никому. Втайне мечтала, что буду печататься в центральной прессе. Но подписывать стихи буду не полным именем, а инициалами: «З.К.» — чтобы все читали, восхищались и даже не подозревали, что это я, девочка-соседка или одноклассница. Однажды с Шуркой поделилась мечтой, а он ответил, что таких зэка у нас в стране миллион. Я сразу не поняла, о чём он, а когда догадалась, то так разозлилась! Хотела ему проработку устроить, а он уже умчался на футбол. Глупый, несознательный Шурка! Разве это шутки!

Я, когда стала вожатой у пятиклашек, ездила на Чистые пруды в Дом пионеров в методический кабинет. Конечно, мечтала я вовсе не об этом кабинете, а о литературном кружке. В тот день было заседание литкружка, я об этом знала, и поехала в Дом пионеров сразу после школы. У меня была тетрадка с переписанными набело стихами. Я представляла, как встаю перед ребятами и читаю:

«Пришла ночь, свежесть подула.
Горы и поля — всё уснуло.
Только мы идём по дороге,
Но осталось совсем немного.

Птицы в лесу не кричат,
Деревья тоже молчат.
Если когда-нибудь окончим мы путь,
То сможем потом отдохнуть»

Чем дальше я повторяла про себя строчки, тем страшнее мне становилось. Я так ярко представляла, как всё будет... Глаза ребят, лицо руководителя. Понравится им или нет? Поймут ли? Ведь это не какие-нибудь любовные глупости, здесь такой глубокий философский подтекст. Ну, то есть, если со стороны смотреть, то подтекст, а так это про нас с папой, это мы вдвоём идём по дороге. Но ведь хорошие стихи, да? Они

неприменно должны всем понравиться! А вдруг я сама им не понравлюсь? И меня не захотят принять в кружок? Это будет не просто унижительно, а ещё хуже! Ведь взяли Шурку в художники, а я, получится, бездарнее младшего брата? *(Качает головой.)* Было морозно. Я проехала от Коптева до Кировских ворот трамваем и сильно продрогла, но ещё полчаса ходила около крыльца, не решаясь зайти, потому что там внутри пришлось бы поворачивать не направо — в административный коридор, а налево, к лестнице, а потом на второй этаж, где занимались кружки. Придётся объяснять, просить, декламировать, а вдруг стихи не понравятся? Ой, как было страшно! Как было холодно! Я ходила взад и вперед, не смея ни на что решиться, а потом подошла к двери, рванула на себя ручку... и повернула направо — к методическому кабинету. Слышишь, фашист? Я струсила. Я предала свои стихи. Смешно сейчас об этом вспоминать. Тогда я решила, что недостойна быть поэтом, раз так легко предаю своё творчество. Вернулась домой, и сожгла в печке тетрадку со стихами, и вытрясла все строчки из головы. Только вот это стихотворение, как ни старалась, не забыла. Про ночь и дорогу. Про папу. Он ведь тоже писал стихи, это дядя Серёжа мне рассказал. Только ничего не сохранилось, мама куда-то всё спрятала, а может, тоже сожгла, я не спрашивала. Я боюсь с ней про папу говорить, у неё сразу лицо становится каменное, да и вся она становится каменная, замолкает. Вот с дядей Серёжей можно, он интересно рассказывает. Они же все из одного села: и мама с дядей Серёжей, и папа. Село далёкое, под Тамбовом. А оказались все в разных концах Москвы. *(Вздыхает.)* Жил бы наш папа, так ему бы, наверное, другую квартиру дали со временем. Нет-нет, мне-то нормально. Мне же не для себя. Шуру жалко, он с детства на полу спал, потому что места для третьей кровати не оставалось. Сейчас-то, наверное, переехал на мою кровать. Интересно, он сегодня в ночную смену на заводе? Тогда он как раз дома отсыпается и пытается просунуть ноги между прутьев спинки. Ноги длинные, прутья частые, неудобно. Так вытянулся за последний год, что на полу ему постель уже по диагонали стелили. Медведь! Мама говорит, весь в отца. *Er sieht aus wie ein Vater!* Слышишь? *(Передразнивает.)* Вас, вас! Он сильный! *(Шёпотом.)* *Er wird dich töten.*

Отворачивается.

В больнице, когда я смогла сидеть и уже не так быстро уставала, врач разрешил читать книги. Мама принесла мне «Голубую чашку» Гайдара. Такая светлая повесть! Ничего не происходит, ничего не случается, а оторваться невозможно. Там были такие слова: «А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!» И вот я читала про девочку Светлану, и про её отца, и как они идут далеко-далеко. И так радостно мне было, и так горько. Потому что я точно знала, что их книжное счастье недолго продлится, что Светланиного отца или убьют на границе под Халхин-Голом, или заберут однажды ночью туда, откуда отцы обычно не возвращаются. У нас так соседа увезли ночью на

чёрной машине. А потом семья его куда-то делась: мать и жена. Наверное, уехали подальше от Москвы, а может быть, их тоже... забрали... С тех пор я за Шурку и стала бояться. Просто до ужаса доходило, до паники. Я ведь не трусиха совсем. Однажды через Тимирязевский лес ночью прошла, чтобы доказать самой себе, что не боюсь. Но одно дело лес, а другое — Шурка. Он ведь маленький, хоть и огромный. Глаз да глаз за ним нужен. Антисоветская пропаганда — так его шуточки называются, это, поди, даже ты, фашист, понимаешь. Вплоть до высшей меры наказания. *(С вызовом.)* Но не тебе нас судить! Мы должны заботиться о сохранении нашей страны, и меры эти справедливы! Враги народа — это всё равно что фашисты! ...Но одно дело сосед, а другое Шурка! Вот был бы жив отец!

Стук топоров. Девушка встаёт во весь рост, улыбается.

«А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!» Я осторожно закрыла книгу и долго вглядывалась в рисунок на голубой обложке. Там по дороге вдоль невысоких деревьев шли к горизонту двое: отец и дочь. Там, за синими горами, за дремучими лесами наливались соком яблоки, цвела гречиха и собирали с неё мёд звенящие пчёлы. Там рядом с мельницей на реке строилась гидроэлектростанция, а из чёрных глубоких ям тащили люди белый, как сахар, камень. Там, над озером, раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нём и грибы, и цветы, и малина.

Я закрыла глаза. То ли это тропа в лесу, то ли дорога в поле. Мне, маленькой, ничего не видно, трава качается над головой. Только рядом в дорожной пыли белеют босые ступни отца. Рядом с его следами на дороге остаётся цепочка маленьких ножек — моих. А если задрать голову, то видно, какой папа высокий и красивый. Он ведёт меня за руку, а я хмурюсь — мне страшно, я устала. Вырываю руку и изо всех сил обнимаю его ногу. И тогда отец подхватывает меня на руки и сажает себе на плечи. И весь огромный мир встаёт передо мной: скачет по ветке серая птица, жёлтые хлеба волнуются под ветром и растекаются над горизонтом синие дымы завода. От счастья хочется кричать, но я молча колочу пятками по отцовской груди. Клубы пыли заслоняют солнце, — это мчится навстречу всадник, и горит на его будёновке красная звезда. Нет, не было у него будёновки, да и не мчалась лошадёнка, а плелась себе вдоль дороги, и дремал на ней соседский мальчишка Колька, прикрученный верёвкой, чтобы не свалился без седла.

И я спросила: «Пап, а куда он едет?» и отец ответил: «А мы сейчас спросим. Храбрый всадник Колька, куда путь держишь?»

А держал Колька путь домой из Соловьёвки, от деда Никифора, которому мать передала целый мешок яблок да велела узнать про сенокос. Только вот кобыла не взнуздана, а пяток слушаться не желает и останавливается пощипать каждую травинку.

И я спросила: «Пап, а далеко Соловьёвка?», и отец ответил: «А вот пройдем Спокойные

хутора, там и Соловьянка». И я спросила: «А за Соловьянкой что?», и отец ответил: «Павловка, Александровка, Прудки». И я спросила: «А дальше?», и отец ответил: «Кирсанов, там наша мама училась. Вот ты подрастёшь, и тоже учиться будешь...» Я киваю и спрашиваю: «А за Кирсановым что?» «Тамбов», — говорит отец. «А за Тамбовом Москва? Мы туда идём, да?» Отец смеётся, и Колька смеётся, и даже худая кобыла ржёт, вздрагивая телом. Отец ломает упругую ветку, очищает от листьев и протягивает Кольке. «Ну-у, пошла!» — кричит тот, стегая лошадёнку по крупу, они несутся галопом и исчезают в моей памяти. А мы с отцом идём мимо хуторов и сёл, через поля и леса, пешком идём в огромный город Москву, где через много лет я сплю на больничной койке и обнимаю книжку во сне.

Она ложится на лавку, свесив руки по бокам, как в беспомыслии.

Отец умер в той же Боткинской больнице, где должна была умереть и я. То воскресенье запомнилось обидой на некто за заболевшего отца. Были куплены билеты в цирк, мы с Шурой мечтали о том, как увидим дрессированную собачку, которая умеет считать до десяти, как учёный тюлень станет перебираться с бочки на бочку и ловить носом мяч. Но пришлось бежать за доктором, и провожать родителей в больницу, и сидеть дома, ожидая маму, которая бы вернулась и сказала, что операция прошла успешно и скоро мы снова будем вместе. Пропали билеты. Но ведь в Москве и без цирка столько интересного, и никто как отец не умеет рассказать про Замоскворечье и бульвары, про «валы» и «ворота»! Всё ещё будет замечательно и даже лучше! Обида сменилась ожиданием, а после — изумлением. Внезапно в жизнь вошло слово «умер», и понять это не было никакой возможности. Как — умер? Как это — нет отца?

Садится.

И вот непогожим мартовским днём — похороны. Мама с дядей Серёжей идут в морг за телом. Мы с Шуркой ждём их возле входа в больницу. По улице за воротами идут женщины с мимозами, они прижимают цветы к груди и самим себе кажутся красавицами. А они не должны быть красавицами, они должны быть уродливыми старухами! Ведь горе случилось, горе! Ведь мама и дядя Серёжа ушли за телом. Я повторяю про себя: «За те-лом...» Потом произношу это вслух. Слово сухое и безжизненное, как цветок в гербарии. Переставляю ударение и пытаюсь придумать рифму. Получается: «слом» и «поделом». Резко налетает ветер, колючий воздух обжигает лицо, и начинает казаться: темнота, что сгустилась в небе, никогда не рассеется. Воздух стал резиновым, его невозможно вдохнуть. Тело в колумбарии, как цветок в гербарии. Темнота-темнота, от тебя некуда бежать, вот подкатывает твоя волна к моим башмакам, вот ты стучишь в мою дверь, темнота...

Слышится звук топоров, как будто что-то сколачивают. Всё громче звук. Девушка закрывает уши руками.

Шура, прекрати! Откуда у тебя палка, зачем ты бьёшь по дереву? Перестань сейчас

же! Нет-нет, он бил не по дереву, он проламывал палкой лёд на луже и хохотал. Зачем он хохотал? Ведь горе случилось, горе, ведь никогда ничего не будет как прежде. Но в его голосе был такой восторг перед жизнью, такая радость оттого, что он живёт на свете... Хотелось дать ему оплеуху. Потом на грузовике мы ехали на восток города к далёкому кладбищу. Там дяде Серёже удалось получить место под могилу. Грузовик выделила папина академия. Меня и Шуру посадили рядом с шофёром в кабину, а мама с дядей Серёжей полезли в кузов. «Караулить гроб», как сказал дядя Серёжа. Наверное, его пугало мамино молчание, только он не решался её утешать, и потому глупо шутил с нами, с детьми. Шура не отлипал от окна, он чуть что толкал меня локтем и шептал про дом с загогулинами, про дым из трубы паровоза, про старуху с собакой, а собака как прыгнет! Шофёр как будто про себя сказал, мол, невесёлый нынче груз. А я подумала: вот так, был папа, а стал — груз. И ещё — покойник... Труп... Мертвец... Умерший... Так много слов для обозначения неживого человека, и всего одно короткое «жив». Как одному этому слову устоять против толпы своих антонимов? Как одному человеку выжить в мире, где идут войны, где люди сражаются друг с другом? Да, именно тогда я поняла, что нельзя умирать просто так — от заворота кишок. Нелепая смерть. Не так! Не так должен умирать человек. И тогда в больнице я отвернулась от белого сияния вверху, потому что... Зачем тогда я была на земле? Умереть за большое человеческое счастье, умереть в борьбе — вот чем должна кончаться жизнь. Но не менингитом или заворотом кишок. Что бы изменилось из-за моей смерти? Кто её заметит? Бог? Да есть ли он, этот бог? Мой дедушка был священником, служил в нашей сельской церкви. Это другой дедушка, не тот, что с вином. Не мамин, а папин отец. *(В сторону.)* Хотя тебе-то неважно... Деда-священника я даже не знала, его за пять лет до моего рождения убили бандиты. Осенью утопили в пруду, а весной нашли целёхонького, даже не посинел! Люди его сразу к святым причислили, мол, нетленные мощи, сам праведный был. Похоронили возле церкви, там крест стоит, мы с папой туда ходили. Папа говорил, что можно деда просить о чуде, что он мой самый близкий заступник перед богом. Папа и сам был верующим, готовился стать священником. Поэтому так далеко от дома мы его и похоронили — там при кладбище работала церковь, и можно было отпеть человека. Мама настрого запретила нам с Шуркой кому-нибудь об этом рассказывать, но теперь-то что? Всё равно ты по-русски не бельмеса. *(Зажмуривается.)* Гроб вносят в церковь, раскрывают, и священник запекает малопонятные молитвы. Эхо. Гулкое, неуютное. Из-за него ещё холоднее, сильнее ощущаются сырые башмаки. Я боюсь простудиться, я понимаю, что маме будет тяжело, и отныне мне придётся ей помогать. Нельзя болеть, нельзя. И ещё понимаю, что детство кончилось, хотя мне всего десять лет. А Шурке восемь, и его детство будет долгим, потому что у него есть старшая сестра, которая сегодня стала взрослой. Потому что пусть хоть у него будет детство! *(Стучит кулаком*

по лавке.) Потому что я сделаю всё, что смогу, лишь бы у него было детство! Какое счастье, что сейчас ему только шестнадцать лет, и его нескоро призовут, и, может быть, к тому моменту кончится война. Пусть работает на своём заводе, пусть станет настоящим мужчиной. Пусть он живёт долго-долго! Дедушка, дорогой, сделай так, чтобы быстрее кончилась война, а потом бы Шурка стал великим художником, чтобы у него было много детей, и чтобы мамочка нянчила внуков. Милая моя мамочка. Она одна знала, куда я ухажу. Шура думал, что я уезжаю к дедушке в село. Ох, и обиделся он, наверное, когда они с мамой получили моё письмо со штампом полевой почты. Что же поделаться, кто-то из нас должен был идти защищать родину, а кто-то должен был остаться с мамой. Она бы не перенесла потери сына. А я... Я всего лишь дочка, меня можно не так любить, как мальчика. (*Машет рукой.*) Куда смотрела твоя мать, фашист, что отпустила тебя на фронт? Куда смотрела твоя старшая сестра? Ты погибнешь здесь, и они не перенесут твоей смерти.

Что я должна воевать с оружием в руках, это я поняла шестнадцатого октября. День был такой чёрный-чёрный. В сводке передали, что состояние дел на фронте ухудшилось, а потом радио замолчало. Началась эвакуация предприятий, сжигали архивы, и пепел летал над улицами. Как чёрный снег! И запах гари в воздухе. Завод имени Войкова остановил работу, шли слухи, что минируют главный корпус. На улицах строили баррикады, устанавливали противотанковые ежи, а в стенах угловых домов пробивали амбразуры. Но самое страшное было в том, что встало метро. (*С ужасом в голосе.*) Оно было закрыто! Вдобавок куда-то исчезли трамваи, и никто не понимал, что происходит, и почему не работает транспорт, и как доехать на работу. Ведь прогул в военное время — это почти самоубийство. И вот тогда началась паника. Эвакуация превратилась в массовое бегство. Поползли слухи о том, что Правительство во главе со Сталиным уехало в Куйбышев, о том, что через два дня немцы будут в Москве и надо спасаться, пока не поздно, о том, что диверсанты отследили всех партийцев, арестуют и перевешают их во дворах по команде. Для устрашения. (*Улыбается.*) Как будто это возможно! Нас много, всех не перевешают! Да, вы здорово нас напугали тогда.

Стук топоров.

Слышишь стук? Машина обгоняла толпу по обочине, застряла колесом в колдобине, теперь водитель срубает ветку, чтобы подсунуть под колесо и выбраться из западни. Он спешит удрать от врага. По Ленинградскому шоссе едут грузовики, машины, повозки. Люди идут с тачками и колясками. А навстречу потоку беженцев маршируют добровольцы. Одеты они кто во что, зато чётко печатают шаг и несут на плечах оружие. А ещё они поют, слышишь? Они эту песню несут над собой, как знамя. Смело мы в бой пойдём за власть Советов! И как один, умрём в борьбе за это! (*Хватается за щёку, будто получив удар.*) Ведь страшно тебе! Ведь боишься меня. А ты слушай! Не было сил смотреть, как они идут. Ведь они знали, куда идут. Они видели людей, идущих

оттуда. Там бой, там смерть, а они поют. А винтовки?! Ведь это не современные трёхлинейки, а то ли французские трофейные, то ли польские... Как ими воевать-то? Они, поди, стреляют через раз. Но они всё равно идут! Не могут не идти. Жалко, что Шурка этого не видел, он в те дни на заводе дневал и ночевал, дома почти не появлялся. А он бы это нарисовал, обязательно нарисовал. Такое нельзя забыть. Хотелось догнать эту колонну и маршировать с ними на фронт. Но я понимала, что девчонку сразу прогонят, да и оружия нет, как я стрелять буду? И это бессилие, эта никчёмность... Когда смотришь на плакат «Чем ты помог фронту» и в душе всё переворачивается от стыда. (*Качает головой.*) Это хуже, чем смерть. Гайдар когда-то писал о том, что не надо бояться смерти. Умереть за большое человеческое счастье не жалко. (*Смеётся.*) А когда мы с ним познакомились, он лепил снежную бабу. Да, тот самый знаменитый детский писатель Гайдар, автор «Голубой чашки», которую я читала в больнице! Стоит такой большой плечистый дядя и бабу лепит! Я даже не сразу поняла, что это он, растерялась. И не как-нибудь лепит, а так старательно, с увлечением, как маленький: отойдет, посмотрит, полюбуется... И то голову ей пригладит, то руку-веточку поправит... Он в том же санатории отдыхал, куда меня направили после больницы. Так там было хорошо! Я, наверное, впервые в жизни совершенно ну ничегошеньки не делала. Воду таскать не надо, полы-посуду мыть не надо, готовить не надо! Знай себе: ешь, спи да читай. Ещё врачи советовали много гулять. Мол, надо организм насыщать кислородом и приучать к физической активности. И вот гуляла я перед обедом по лесу и вышла к большой поляне. А там стоял гарнизон снежной крепости. Правда-правда! Только невнимательный человек принял бы их за снеговиков, а я сразу поняла, что снежные войска вооружены и опасны. Два снеговика держали ружья «на плечо», два — «на караул», два стояли навтыжку — «руки по швам», — без оружия. А Гайдар самую маленькую седьмую бабу доделывал: хотел, чтобы она сидела за прилавком из снега и торговала всякой мелочью: сосновыми шишками и вороньими перьями. Он её маркитанткой называл. Сказал, что вчера они заняли эту белую крепость, что пушки и ружья больше не стреляют, а старая маркитантка по-прежнему торгует своими запасами. Он так серьёзно об этом говорил, так малыши говорят о своих игрушках, а не взрослые писатели. Я его сразу узнала, он походил на свои фотоснимки в газетах. Он меня увидел, спросил: «Хотите мороженого?», я расхрабрилась и ответила: «Хочу!». Тогда он снял рукавицу и вытащил из-за спины у маркитантки два фунтика мороженого «Эскимо». А я никогда не ела эскимо, я только в «Пионерке» читала, что скоро начнётся массовое производство, и тогда по всему Союзу будут распространять эскимо. Мы с братом на Первомай всегда мороженое в вафлях покупали. Шуре один раз попала вафля с его именем, а мне — ни разу. Мне всё Тани попадались. И я Гайдару всё это выкладываю с восторгом, ну, потому что эскимо ведь! А он смотрит, и не то

чтобы хмурится, но такое жалкое лицо становится, как будто я всю игру поломала. И руку с мороженым медленно так за спину убирает. Потом признался, что никакое это не эскимо, а просто снег на веточке в весёлом фантике. Сильно, — спрашивает, — расстроились? А я ему отвечаю, что вовсе не расстроилась, и что счастливее меня сейчас во всей стране никого нет, потому что я сразу его узнала и вообще все книги его знаю. Тут колокол к обеду зазвенел, он засмеялся, подтолкнул меня в сторону корпуса и сказал, что тоже меня знает, и все книги мои знает: алгебру Киселева, физику Соколова и тригонометрию Рыбкина. На следующий день я его не видела ни за завтраком, ни за обедом. А к вечеру Аркадий Петрович появился и принёс мне настоящее эскимо. Сказал, что не привык обманывать ни взрослых, ни детей, поэтому прямо с утра поехал на улицу Горького по писательским делам, а возле Кремля встретил министра продовольствия Анастаса Ивановича Микояна и по его личному распоряжению получил на складе молочных продуктов самое вкусное в мире мороженое в количестве двух штук. Насочинял, конечно, но так здорово! В жизни ничего вкуснее не ела. Потом мы с ним часто встречались. Катались на лыжах, просто гуляли. Со мной никогда и никто не разговаривал так... всерьёз. На равных. Как будто он сам пытается понять, как жить и зачем жить? Долго и счастливо? Счастливо — не значит, долго, а долго — не значит, счастливо. Так он говорил. Как будто ему не всё равно, что со мной будет. Да, именно Аркадий Петрович тогда и сказал, что я превосходно читаю Гёте. (*Шёпотом.*) Я ведь решилась, прочитала ему то стихотворение, ну, которое про папу. Вот это:

«Пришла ночь, свежесть подула.

Горы и поля — всё уснуло.

Только мы идём по дороге,

Но осталось совсем немного.

Птицы в лесу не кричат,

Деревья тоже молчат.

Если когда-нибудь окончим мы путь,

То сможем потом отдохнуть»

Аркадий Петрович подумал и почему-то попросил меня прочитать Гёте: «Не шумит дорога, не дрожат листья, подожди немного, отдохнёшь и ты...». Потом снова моё:

«Если когда-нибудь окончим мы путь, то сможем потом отдохнуть...». Разве, говорит, не слышите? Я тогда зажмурилась, напряглась, и вдруг услышала! Дятел в лесу стучит!

Стук топоров.

Дятел, знаешь, я скоро тоже замёрзну, как дерево, только ты не стучи об меня клювом! (*Кивает в сторону.*) Вот их надо клевать. Бить, жечь, тарвить! (*Пауза.*) Брат приезжал

меня навещать в санаторий, я ему говорю: представляешь, кто здесь отдыхает? Мой любимый писатель! А Шурка возьми и ляпни: Карл Маркс что ли? Хорошо, никто не слышал. А мама забеспокоилась: чего, говорит, взрослый человек с тобой разгуливает, чего ему от тебя надо? И как ей объяснить, что никакой он не взрослый, а мальчишка, которому не с кем играть в снежки? Ведь не поверит, что такие бывают. Я бы и сама не поверила. Когда я уезжала из санатория, он на прощание подарил мне свою книгу про Чука и Гека. А на развороте написал такие слова: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной». Это он снова так со мной говорил про счастье. Мы потом случайно столкнулись возле Центрального телеграфа. Уже война была. Он был такой большой и красивый в новой военной форме. Готовился ехать на фронт. Только знаков различия на форме не было. По вине старых ран его не брали в армию, и тогда он оформился военным корреспондентом. Я знаю, он бы недолго воевал пером, он взял бы в руки винтовку. Потому что хотел драться с вами! Я читала его очерки из Киева в «Комсомольской правде», конечно же, он лез в самое пекло. А когда вы заняли Киев... Когда наши отошли... Не стало больше очерков. Но я верю, что он жив! Разве может умереть такой большой и замечательный человек? Разве способны убить его такие ничтожества, как ты? Он, наверное, в партизанах, а может быть, выходит из окружения. Вот встретились бы мы с ним после войны, я бы сказала: видите, Аркадий Петрович, я вас не подвела! Я выполнила долг перед родиной, я крепко любила и берегла нашу огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.

Стук топоров.

Когда вы напали, и было выступление Молотова по радио, все по-разному себя повели. Парни и мужчины постарше пошли в военкомат, женщины молча разошлись. Все думали об одном: «Война!». А я думала о победе. Я не знала, когда она наступит, через неделю или через две вас щёлкнут по носу, но месяцы шли, никто вас не останавливал, наши сдавали города, и я уже не могла оставаться не у дел. Когда вы бомбили Москву, даже мужчины нашего дома прятались в убежище или где-нибудь за дверью. А мы с Шурой отправлялись на чердак дежурить или я ходила кругом дома и ни с кем не разговаривала. Люди иногда с насмешкой смотрели на это и думали, что я кичусь своей смелостью, раз не боюсь осколков. А я на них не смотрю, а всё хожу и хожу, потому что стыдно сидеть в укрытии. Душа не выдерживает! Дом у нас деревянный и иногда шатался от стрельбы. Мама начнёт волноваться, а я её стыжу. Мама тогда работала на дому: мы шили вещмешки и петлицы для красноармейцев. Дел у нас, конечно, было много. По очереди мы ездили с Шурой на трудовой фронт: он рыл окопы на подступах к Москве, а я собирала картошку в прифронтовом совхозе. Но этого было мало, мало! Фронт подошёл вплотную, и я решила добиваться путёвки в армию. Ни

капли сомнения не было в том, что меня возьмут на передовую. Я умела делать перевязки, знала, как надо обращаться с винтовкой и гранатой, не боялась взрывов. Была комсомольским группоргом, среди ребят обладаю авторитетом — ну, почему не взять меня на фронт? Я полезная, я пригожусь. Ведь Москве угрожает опасность, разве можно сидеть, сложа руки? Всё это я выложила в райкоме. Горячилась, спорила. И секретарь махнул рукой и направил меня в Центральный комитет на Чистые пруды. Я в тот же день и поехала. Вышла из метро, оно к тому времени заработало, прошла немного вперёд и обомлела. Вдоль бульвара гнали скот. Воздух гудел. А машин не было. Совсем не было. Коров давно не доили, иногда какая-нибудь бурёнка вскидывала голову и громко мычала, — больно было нести вымя. Наша Рогуля однажды так плакала, когда бабушка не успела её подоить. А я Рогулю пожалела, подставила ведро, скамеечку, села и изо всех сил стала дёргать за соски, — подражала бабушке. Корова попятилась, опрокинула ведро, да и хвостом меня хлестанула из всех сил. Спасибо, что не копытом! Я тогда на неё обиделась и молоко два дня не пила. Бабушка всё удивлялась, расспрашивала, мол, что такое, да не болит ли живот? А когда всё-таки вызнала причину, до слёз смеялась. Внучка на корову обиделась! А потом научила меня доить. Схватишь где повыше и ладонью сжимаешь. Схватишь и сжимаешь. Только дёргать не надо. Руки потом сильно ноют с непривычки. Мы когда переехали в Москву, в центре даже лошадей почти не оставалось. Я жалела, что нет здесь бабушкиного хозяйства, мне не хватало этой возни с животными. И деревенского простора здесь нет — уже и окраина возле нашего Тимирязевского парка перед войной стала потихоньку застраиваться. Нет простора... А есть огромные проспекты и бульжные мостовые, есть высокие дома и бульвары. Мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь увижу посреди столицы коров. А сзади топает стая лапчатых гусей и гогочет! (*Машет руками, смеётся.*) И вот бредут эти коровы мимо зенитной батареи под зелёной сеткой-маскировкой, мимо аэростата и девушек в серых шинелях, с такими же серыми лицами. А я смотрю: дальше под деревьями траншея выкопана. Их же ведь так просто не копают. Получается, не только у нас на окраине готовились к боям, а даже здесь, на Чистых прудах! Значит, вы можете дойти и сюда, и вас надо остановить! Хоть всем полечь в бою, а вас остановить! Ой, как я позавидовала этим девушкам! У них была чёткая боевая задача: защищать небо столицы, а если придётся, то и её землю. А через дорогу возле кинотеатра «Колизей» два крытых грузовика, и в них лезут необмундированные парни и девушки с вещмешками и чемоданами. Я тогда так разозлилась: молодые здоровые лбы, могут защищать Москву, бить вас, а вместо этого наверняка эвакуируются в Алма-Ату или Челябинск. Ну, разве не предательство? Я ведь не знала, куда и зачем едут эти грузовики. Хорошо, что ты не понимаешь по-русски, могу говорить. (*Вздыхает.*) В ЦК меня направили на комиссию, трое человек, среди них один в форме и с орденом Красного знамени. Только они меня брать не

захотели. Ну, как не захотели... Пугать стали, трудно, дескать, придётся работать в тылу врага, идите домой, подумайте. Рассчитывали, что не вернусь. Но я не послушалась и никуда не ушла. До поздней ночи просидела в коридоре, они меня увидели, даже растерялись. Командир в форме хмыкнул так уважительно и велел через день явиться к кинотеатру «Колизей» с вещами, оттуда машинами нас повезут в часть. И тогда я поняла, куда ехали от «Колизея» те необмундированные парни и девушки. А я-то на них ругалась! Вот ведь, конспирация! Я, конечно, тоже хотела конспирацию соблюсти, но когда увидела мамины глаза... Не смогла промолчать. Пусть она знает, куда я иду, пусть гордится не только сыном, но и дочкой! Мне ведь дали задание, а Шуре не дали! Значит, я не просто так, значит, я тоже чего-то стою.

Стук топоров, немецкие голоса.

Когда приехали в часть, странно так было. Я ожидала увидеть казармы, какие-то специальные постройки. На худой конец, брезентовые палатки на двадцать человек, как в военных лагерях. А это был дачный посёлок. Девушки жили в одном домике, парни в другом. Столовая только общая и Красный уголок. Но дисциплина — ух! Ночью в уборную на двор пойдёшь, обратно часовой без пароля не пустит. (*Смеётся.*) У нас так одна девушка забыла пароль, до утра на дворе просидела, пока командир не вышел. Он ей сразу три наряда вне очереди и строгое предупреждение. Собирался и вовсе из части отчислить, но пожалел. Эту девушку пожалел, а других отправлял в другие войска, или домой, если присягу ещё не успели принять. Конечно, в часть много случайных людей попало. Не знаю, может, их питание привлекло, кормили нас хорошо, сытно. Это в Москве хлеб по карточкам, да ещё и отоварить надо. А нас впрок кормили, потому что на задание берёшь с собой только сухари да сушёную рыбу, этим сыт не будешь. А идёшь то на десять дней, то на две недели. Зато на базе и хлеба, и картошки, и сала — всего достаточно. Ещё некоторые умудрялись в Красном уголке танцы под патефон устраивать. У меня в голове не укладывалось: война вот здесь под боком — и танцы! Это, наверное, у них из-за сытости получалось. Совесть жиром заплывала. Пока все плясали, я в комнате книжки читала. Или в тире тренировалась, патронов у нас тоже было достаточно. В десятку редко попадала, но это неважно, зато выстрелы кучно ложились. Шурка говорил, что кучность важнее, чем точное попадание. Обучали нас недолго — три дня. Командир, тот что с орденом, учил снимать охрану с помощью финского ножа в спину: это очень просто, — сказал он, — это очень легко, ха-ха! Мы посмотрели на свои ручонки и тоже засмеялись. Но снимать охрану мне не довелось. В основном, рукопашному бою ребят учили. Перед нами, девушками, другая задача ставилась. Мы ходили в разведку. Зайдём в деревню, разузнаем, какое положение, есть ли немцы, картошки выпросим или выменяем, и тогда отряд может дальше двигаться. Меня такое положение дел не устраивало. Категорически не устраивало! Ведь, спрашивается, зачем я училась стрелять и мины закладывать? Я тоже должна

навредить врагу. На первом задании мы вообще к деревьям не подходили, всё больше в лесу кружили. Снега почти не было, спали на голой земле, на шинелях, на пальто. Час на одном боку лежишь, заледенеешь, встанешь, попрыгаешь, и на другой бок. Костёр не зажечь, вы же сразу дым засечёте. А попадаться никак нельзя. Дней пять мы так по лесу кружили. Связь, если попадалась, резали. Метров пять провода вырезали и в ручей бросали, или в яме листьями закидывали, чтобы не найти. Хорошо мы вам навредили! Снега тогда не было, он в последний день выпал. Было седьмое ноября, и мы встречали его в лесу. Огромная старая ель, заячьи следы на свежем снегу... Идиллия! Что ещё? Мины на шоссе закладывали. За неделю штук десять машин подорвали, это мы были, мы, понимаешь? И этого хватило, чтобы на базе решили, что задание выполнено. То есть было чем отчитаться перед начальством — и не более. А на самом деле, так мало сделали! Я знала, что мы не имеем права возвращаться, пока есть силы и желание вас уничтожить. Когда с нами командир на базе беседовал, я так ему и сказала. Он меня похвалил, но сказал, что выбиваться из сил на первом же задании не следует, война может оказаться долгой, каждый боец на счету. И что надо учиться на реальном деле, на своих ошибках. Анализировать, прорабатывать. Ох, какой человек наш командир! Он ведь самого Ленина видел! Что, знакомое слово? *(Кричит.)* Ленина, Ленина! *(Хватается за щёку, как после удара.)* Командир совсем ещё мальчишкой стоял на часах у его квартиры в Кремле. Владимир Ильич с ним беседовал и однажды подкормил: бутерброд с повидлом вынес — это и сейчас лакомство, а уж в те годы!.. А орден Красного знамени у него за Испанию. Командир устраивал диверсии вашему брату франкисту: жёг аэродромы под Уэской, взрывал мосты под Кордовой. Мы все испанские города тогда выучили наизусть. Едва проснувшись, бежали с Шурой наперегонки за газетой, чтобы узнать, что ещё случилось в провинции Эстремадура. На фронт рвались. По радио рассказывали об испанском юноше, которого родные не отпускали воевать, а он все-таки пошел. И таким молодцом оказался! Один раз фашистский снаряд разорвал их окоп и разбил противотанковую пушку. А этот парень — Корнехо его имя — схватил гранату и как выскочит из окопа! Побежал навстречу танкам и как кинет гранату в танк!.. Она разорвалась под гусеницей, танк завертелся на одном месте! Тут другие подтащили ящик с гранатами. Корнехо стал кидать одну за другой. Смотрят — второй танк свалился набок, потом третий, а остальные повернули обратно. Это мне Шура рассказывал. Так завидовал этому парню, Корнехо, так им восхищался. Я так, наверное, только нашим командиром восхищалась... Шура ни одного слова, ни одной военной сводки не пропускал. И все время рисовал Испанию: неслыханной голубизны небо, серебристые оливы, рыжие горы, обожженная солнцем земля. Траншеи, пушки, взрывы, кровь республиканских бойцов... И слова, эти невозможные слова: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». И, несмотря на это, Испания пала... Как вы могли победить, как?! С тех пор еще только одно так ударило —

падение Парижа. Я очень хорошо помню этот день... летом... Принесли газету, а там — Париж взят. И так страшно, так позорно это было!.. Просто нельзя было поверить, представить нельзя: вы, фашисты, шагаете по Парижу. Париж под немецким сапогом. Париж коммунаров! Разве можно было предугадать, что будет куда как страшнее? Что наутро после школьного бала мы узнаем про бомбёжки и бои на наших границах? Но не на тех напали, слышишь! Не взять вам Москвы, никогда вам не взять Москвы! (*В сторону.*) Du hast verloren! Понял? (*Вдыхает.*) А ведь такой был бал! Я в новом платье была такой красивой! Наверное, самой красивой девушкой в школе. Это платье мне Шура подарил. На те деньги, что он заработал чертежами, пока я болела, мы купили отрез — красный в чёрный горошек. И сшили мне платье. Впервые у меня было что-то новое и красивое. Меня наперебой приглашали танцевать. Цветы, музыка, рассвет! Казалось, вот такой и будет моя жизнь. А наутро: бомбёжки и бои. И надо воевать. Я взяла платье с собой на фронт. Много ли ему надо места в вещмешке? А напоят о многом: о празднике, о радости, о том, какой прекрасной будет жизнь после войны. Правда, когда уходила на задание, я его всё-таки оставила в камере хранения в части. Туда все сдают личные вещи, когда уходят на задание. А документы — командиру. Думала, вернусь, надену платье и пойду в Красный уголок. Всё-таки надо дружить в теи людьми, с которыми завтра отправишься в разведку и будешь делить последнюю пайку. И командир увидит меня в этом платье, и, может быть, ещё раз скажет, что я красивая... Такая красивая, что он не хотел брать меня в часть...

Стук топоров. Немецкие голоса, смех, ржание лошадей, крик.

Меня схватили, когда я пыталась поджечь сарай. К сараю вели провода, а где провода, там штаб, так нас учили. Но штаб оказался в другом месте. Там меня допрашивал офицер. Я молчала. Меня раздели, мерзкая рыжая морда пыхтела мне в лицо, веснушки у него были такие красные, а я уже знала, что это смерть, я помнила её запах. Они всё спрашивали, где находится наша база, кто командир, сколько нас было в группе. Я молчала. Спрашивали, где остальные, но я молчала. Меня пороли ремнями, и я молчала. Потом связали руки за спиной и босиком повели по улице. Снег колючий, жжётся, ветер под сорочку задувает... Привели в избу, там солдаты. Нет, не надо об этом...

Били кулаками и подносили к лицу зажжённые спички. Кто-то провёл по спине пилой. Очень хотелось пить. Я попросила у хозяев воды. А ты... Ты схватил со стола горящую керосиновую лампу без стекла и поднёс к моему лицу. Я не закричала, только отшатнулась. Ты засмеялся, убрал лампу и махнул рукой. Разрешил дать мне воды. Такая вода была, как в сказках — живая. Я выпила два ковша. Ты пинком поднял меня с лавки и повёл на улицу. Я думала, пристрелишь где-нибудь за углом, ещё оставались силы бояться смерти, но ты просто водил меня взад и вперёд по ледяной улице. Наверное, хотел запугать тех, кто остался в лесу и мог меня видеть. Месяц ночью

светил ярко, и когда я шла в ту сторону, где Москва, мне было легче, а когда ты окликал меня и приходилось поворачивать... Ветер был такой колючий, и снег обжигал, хотелось согнуться и упасть, согреть тело. Ноги немели и не сгибались. Потом мы шли обратно в избу, ты толкал меня на лавку к печке. Ноги отогревались и болели так, что хотелось кричать. Но кричать было нельзя. А потом опять: встать! И снова снег и холод, такой холод. Не знаю, сколько времени это длилось. Тебя сменил пожилой солдат, он дал мне подушку и одеяло. Руки развязал, велел спать. Если бы я могла уснуть! На столе горела всё та же керосиновая лампа, слабенько светилась, но когда я открывала глаза, то видела дощатый потолок и тёмные срезы сучков на нём. Как шоколад, как в детстве, как дома. Только ни на какой табурет я уже не залезу, потому что ног у меня не осталось. Ноги, мои ноги, бедные мои ноги, несчастные... Вы почернели, вы ничего не чувствуете... Вот оно, чего я так боялась, и нельзя об этом думать, иначе я не выдержу всё, что будет дальше. Я всё-таки засыпала на несколько минут, проваливалась в забытие, но это не сон был, а кисель, как тогда в больнице, околосмертный кисель. Во сне нестерпимо горели отмороженные ноги, и казалось, что кругом бушует огонь — тот самый, который я не успела зажечь. Я просыпалась и хватала ртом воздух, — пыталась надышаться впрок. Я знала, что эта ночь — последняя. Узнает ли мама, как погибла её дочь? Или лучше исчезнуть навсегда, раствориться в военной зиме, пропасть без вести? Да, для меня не будет весны, я не увижу победы, не узнаю, какой она будет и когда наступит, но я верю в это слово, оно обязательно случится. Как обидно, что оно случится без меня! Шурка, милый мой Шурка! Ты пойдёшь за меня мстить, ты убьёшь моих мучителей и непременно погибнешь сам. Не ходи, Шурка, живи на свете долго-долго! За меня живи, я так не хочу умирать. Я хочу жить: хоть без ног, хоть с дурной болезнью, беззубой, страшной калеккой, только жить! Весну увидеть, маму обнять. Пройти по Красной площади и Александровскому саду. Воздухом дышать, видеть, как встаёт солнце. Дедушка, заступник мой, сделай чудо, пусть я не умру. Я не знаю, как это можно, только пусть я не умру! Пусть я не умру!

Прислушивается. Больше не слышно стука топоров. Девушка прислушивается, говорит спокойно.

Всё, не стучат топоры. Значит, виселица готова, и теперь уже скоро... (В сторону.) Утром ты вернулся — охранять меня, чтобы не сбежала. Куда я побегу на своих обугленных ногах? В лес, чтобы замёрзнуть в сугробе?.. Нет! У меня всегда был завтрашний день, он казался таким огромным, что нащупать предел не хватало мысли. Будущее сияло вдали, манило к себе, оно приближалось, но не становилось меньше. И вот теперь это будущее горбится где-то там — на поле в середине захваченной врагом деревни, выставив напоказ всю свою неприглядность, ничтожность и конечность. Можно обойти его кругом, увидеть три подпорки у основания столба, и между ними

скол, и ещё один повыше, и два узла вдоль верёвки, что отобрали у какой-нибудь крестьянки. Будущее можно рассмотреть как следует, его можно потрогать и даже обхватить руками, но после такого будущего от меня останется лишь прошлое...

Поднимает с пола доску с надписью «Поджигатель» на русском и на немецком языках, вешает её себе на грудь. Слышна немецкая речь. Она нарастает, и девушка отступает вглубь сцены, в темноту, перекрикивая чужие голоса.

Но смерть ты у меня не отнимешь. Это последнее, что у меня осталось — моя смерть. Только ею теперь я могу бороться. Я не умру нелепо и бессмысленно от заворота кишок или от менингита. Что-то должно случиться, когда уходит из мира человек. И значит, надо так умереть, чтобы вам стало страшно, так умереть, чтобы ещё больше боялись вы нашей земли и нашей смерти. Ведь на самом деле, это не верёвка качается на ветру, а считает секунды маятник в старых ходиках, что висят в сельской избе у деда с бабушкой, в ходиках, которые после лица матери я первыми помню в жизни. И родной человеческий запах помнится, и деревянные полы в сенях, и букетики душицы, и тканые коврики в комнатах, и большие окна с рассадой на подоконнике, и сон на сеновале после долгого летнего дня. И колокольный звон от церкви. И лица родных, и красные ленты, подаренные бабушкой, и руки отца, и убежавшая за околицу коза. И всё лучшее, что было в жизни, всё самое доброе и любимое — оно не умрёт, вы не сможете его убить! Оно навсегда на земле! И я скажу об этом, громко скажу.

Темнота. Тишина.

Зоя Космодемьянская — разведчик-диверсант. В конце ноября 1941 года была схвачена немцами в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога военного объекта. После пыток повешена в центре деревни. Перед казнью, стоя с петлёй на шее, грозила немецким солдатам, призывала сдаваться в плен. В годы войны стала символом борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Первая женщина, которой было присвоено звание Героя Советского союза в годы Великой Отечественной войны.

Её брат Александр ушёл на фронт мстить за сестру и погиб накануне Победы.

Писатель Аркадий Гайдар воевал в партизанском отряде, и погиб за месяц до Зои, прикрывая отход товарищей.

Их памяти посвящается эта пьеса.

2020 год.

slizkix@mail.ru